

FI

4418

Ф. КОНИ

ИРБУРГ

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА



А. Ко.

«АТЕНЕЙ»

1922



СПбГУ

FT 4418



СПбГУ

7-1 4418

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА.

СПбГУ

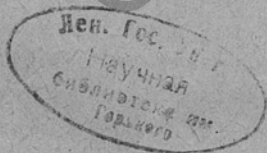
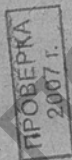
Настоящее издание отпечатано
в количестве 2000 экземпляров.
Обложка и марка работы худож-
ника А. Н. Лео.

А. Ф. КОНИ

ПЕТЕРБУРГ

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА.

5734



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АТЕНЕЙ»
ПЕТЕРБУРГ 1922.

СПБГУ

Не один Петербург настоящих дней, пустынный, безжизненный и „оброшенный“, но и тот огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город, полный торгового и уличного движения, каким он был пред злополучной войной до 1915 года, во многом отличается от Петербурга с начала 50-х до половины 60-х годов, не только своим внешним видом, обычаями и условиями жизни, но даже и названием. Историческое имя, связанное с его основателем и заимствованное из Голландии, напоминающее „вечного работника на троне“, заменено под влиянием какого-то патриотического каприза, ничего не говорящим названием Петрограда, общего с Елизаветградом, Павлоградом и другими подобными. Старый город Святого Петра иногда возникает в памяти старожила в своем прежнем оригинальном виде и хочется, „перебирая четки воспоминаний“, пройти по нему с посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область безвозвратного прошлого, воспоминаниями.

Перед нами Знаменская площадь и вокзал Петербурго-Московской железной дороги, за постепенной постройкой которого в конце 40-х годов с жадным вниманием и сочувствием следил Белинский, живший на берегу Лиговки близ Невского, в небольшом деревянном доме, выходившем окнами на строящееся здание. Проведение нынешней Николаевской дороги в начале 50-х годов составляло событие государственной важности. Первоначально ее предполагалось вести через Новгород, но Николай I провел прямую линию между Петербургом и Москвой и приказал строить дорогу руководствуясь ею, не стесняясь никакими препятствиями. Оставшийся в стороне от большого движения, Новгород захирел и стал, в сущности, лишь памятником старины в своих церквях, монастырях и урочищах, к которому недаром Добролюбов обратился со словами: „Все гласит в тебе о прошлом, вольной жизни край, даже мост твой с надписаньем — „строил Николай“.

Быть может, на решение Николая I подействовали и тяжелые воспоминания о Грузине (усадыба Аракчеева) и о бунте военных поселян. С открытием дороги, постройку которой охарактеризовал в своих стихах Некрасов, забыто и запустело старое шоссе между Петербургом и Москвой, по которому прежде было большое почтовое движение и на котором была

станция, прославившаяся в нашем кулинарном деле пожарскими котлетами. Николаевская дорога была по времени сооружения второю в России. Первою была построена Царскосельская железная дорога, как кажется, третья по времени в Европе. Первая—была между Нюрнбергом и Фуртом; вторая—между Парижем и Версалем, и на ней произошло первое тяжелое железнодорожное несчастье.

У нас публика относилась с недоверием и страхом к новому средству сообщения. Бывали случаи, что остановленные у переездов через рельсы крестьяне крестили приближавшийся локомотив, считая его движимым нечистой силой. Рассказывали, что для обращения этих страхов в более веселое настроение, первые месяцы впереди локомотива устраивался заводной органчик, который играл какой-нибудь популярный мотив. Вагоны III-го класса на Царскосельской дороге, до начала 60-х годов, были открытые с боков, что представляло некоторую опасность для глаз пассажиров от летящих из трубы искр. Управляющий движением этой дороги отличался большой оригинальностью: говорили, что на его визитных карточках было напечатано: *Directeur du chemin de fer de Petersburg a Tzarskoje selo et retour.*

Посредине железнодорожного пути между Петербургом и Москвой находилась станция

Бологое. Здесь сходились поезда, идущие с противоположных концов и она давала, благодаря загадочным надписям на дверях „Петербургский поезд“ и „Московский поезд“, повод к разным недоразумениям комического характера. Движение было сравнительно медленное: почтовый поезд шел 30 часов, причем всех интересовал и тревожил переезд по Веребьинскому мосту, перекинутому через Волхов на очень большой высоте и покоившемся на сложных деревянных устоях. Вагоны не имели отдельных купе и женских отделений. Места первого класса состояли из длинных кресел, раскидывавшихся на ночь для сна пассажиров. Билеты представляли длинный лоскут бумаги с наименованием станций. Кондуктора носили военную форму и особые каски. Перед отправлением поезда звонили три раза, затем наступало томительное молчание, раздавался зычный голос обер-кондуктора „готово!“, за ним следовал свисток, поезд дергался, для испытания трудоспособности локомотива, и двигался наконец в путь.

С таким поездом приезжает впервые в Петербург ожидаемый мною посетитель, сгорающий нетерпением познакомиться с „Северною Пальмирой“ в ее подробностях и особенностях, и мы начинаем наше странствие по городу.

Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии

садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила. Это Лиговка, на месте нынешней Лиговской улицы. На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка—небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красною каймою. Это местожительство блюстителя порядка—будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У будочника есть помощник, так называемый *подчасок*. Они оба ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться из ближайших окрестностей будки. Будочник—весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей.

Направо от станции начинается Старый Невский. Поезд пришел рано утром и нам дорогу

пересекает не совсем обычная процессия, окруженная солдатами в коротких мундирах с фалдочками сзади, в белых полотняных брюках (дело происходит летом) с двумя перекрещивающимися на груди кожаными перевязями, к которым прикреплены патронная сумка и неуклюжий тесак,—с тяжелыми киверами „прусского образца“. Среди них движется колесница, к утвержденному на которой столбу привязан человек в арестантском платье. На груди у него доска с названием преступления, за которое он судился. Сзади едут официальные провожатые—священник, нередко врач, и секретарь суда, решившего судьбу этого несчастливца. Под звуки барабанной дроби мы идем в некотором отдалении за этим поездом и вступаем на Старый Невский. Он обстроен невысокими деревянными домами с большими и частыми перерывами, окруженными заборами. Никакой из ныне существующих в этой части Невского улиц еще нет. Есть лишь переулки, выходящие в пустырь, в глубине которого виднеются красивые здания казацких казарм. По левой стороне улицы мы подходим к обширной площади, называемой Конной, от производящегося на ней в определенные дни конского торга, и служащей для исполнения публичной казни, производимой всенародно. Процессия останавливается, солдаты окружают эшафот кольцом и на него входит

чиновник, читающий приговор. Если осужденный „привилегированного сословия“, палач ломает над его головой шпагу, если же он „не изъят по закону от наказаний телесных“, то над ним совершается казнь плетьюми. Палач, вооруженный плетью, становится в нескольких шагах от обнаженного по пояс и привязанного в соответствующем положении осужденного и, крикнув:— „поддержись, ожгу!“—начинает наносить удары, определенные в приговоре, после чего истерзанного везут в тюремный лазарет, а по выздоровлении, заковывают в ручные и ножные кандалы, выжигают на лице его клеймо и ссылают в Сибирь. Мы проходим быстро мимо этого отталкивающего зрелища, уничтоженного лишь в 1863 году, вместе с варварским наказанием шпицрутенами. Последнее описано у Ровинского в его исследованиях о старом суде, и изображено в потрясающей картине у Л. Н. Толстого, в его рассказе „После бала“.

Идем далее по направлению к Александроневской лавре. Навстречу нам мчится запрятанная четверкою, с форрейтором и двумя лакеями в треугольных шляпах на запятках, карета. Сквозь стекла ее дверец виднеется белый клобук с бриллиантовым крестом. Это митрополит, отправляющийся на утреннее заседание Синода. Подходя к монастырю, мы видим редкие каменные здания и между ними здание Ду-

(1) Казнь Чернышевского 19 мая 1864. 13

ховной Консистории, где чинится, расставшимися с соблазнами мира монахами, своеобразное правосудие по бракоразводным делам, нередко при помощи „достоверных лжесвидетелей“, и проявляется начальственное усмотрение, под руководством опытной канцелярии, по отношению к приходскому духовенству, вызвавшее весьма популярное в его среде яко-бы латинское изречение: „Consistorium protopoporum, diaconorum, diachorum, ponomarorum que—obditiatio et in oblutatio est“. Возвращаясь назад, мы встречаем богатые похороны. На черных пополах лошадей нашиты, на белых кругах, нарисованные гербы усопшего. На „штангах“, поддерживающих балдахин, стоят в черных ливреях и цилиндрах на голове „официанты“, как это значилось в счетах гробовщиков. Вокруг колесницы и перед нею идут факельщики, в черных шинелях военного покроя и круглых черных шляпах с огромными полями, наклоненными вниз. В руках у них смоляные факелы, горящие, тлеющие и дымящие. Так как за всей процессией не ведут верховую лошадь в длинной черной попоне, то, очевидно, хоронят не „кавалериста“, а штатского. Процессия имеет печальный характер, более однако соответствующий значению ее, чем современные—декоративные с электрическими лампочками и грязноватыми белыми фраками на людях, несущих, вме-

сто факелов, фонари. Гроб, всегда деревянный, обшитый бархатом или газетом с позументами. Металлических гробов тогда не было.

Вступая на Невский, перейдя Лиговку, мы встречаем довольно широкие тротуары, в две плиты, постепенно затем расширенные до их настоящего вида. У тротуаров, в двух саженях одна от другой; поставлены невысокие чугунные тумбы, выкрашенные в черную краску. Перед большими праздниками их жирно красят вновь, причиняя тем некоторый ущерб платьям проходящих и задевающих их франтих. Во дни иллюминаций на них и около них ставятся зажженные и портящие воздух едким дымом плошки. На Невском, Морской и некоторых из главных улиц стоят на солидных чугунных столбах газовые фонари. Все остальные местности в городе освещаются масляными фонарями на четырехугольных столбах, выкрашенных подобно будкам. Такой фонарь имеет четыре горелки перед металлическими щитками; но свет дает лишь на очень близком расстоянии вокруг себя.

узкой Галерной улице такие фонари висят довольно высоко, на веревках, протянутых от домов с обеих сторон улицы. По улице в разных направлениях движутся со скоростью, всегда удивлявшею иностранцев, дрожки, коляски и кареты, самых разнообразных фасонов. Кареты — часто четырехместные — на сложных

рессорах, с высокими козлами и откидной подножкой у дверец. Площадка сзади кузова обыкновенно утыкана гвоздями, обращенными острием вверх, или она заменяется обручем с острыми конечными зубцами. Это делается для того, чтобы уличные ребята не устраивались сзади кареты, что подало повод в свое время Некрасову сказать: „Не сочувствуй ты горю людей, не пиши ты гуманных книжонок, но ставь за каретой гвоздей, чтоб вскочив на карету, не пошелся ребенок“ ...

Кареты знатных лиц запряжены обыкновенно четверкой цугом с форейторм на передней паре, кричащим обычное в то время: „Пооди!“ или „Эй, берегись!“ На кучере цветная четырехугольная шапка, обшитая по краям шнурком с завитками. На козлах карет высоких военных лиц, рядом с кучером, помещается в шишаке *) лакей в синеvато-серой шинели, капюшон которой обшит двумя широкими красными полосами, а если это экипаж иностранного посланника, то рядом с кучером в кафтане, обшитом по борту позументом, сидит егерь в охотничьем наряде, нередко с полусаблей на черной лакированной перевязи. Другой вид экипажей составляют

*) Этот шишак состоял из обыкновенной военной каски, на верху острия которой было у бомбы срезано пламя. Такие же шишаки присвоены были в начале 60-х годов городовым.

пролетки, с довольно узким сиденьем, заставляющим едущих вдвоем держаться друг за друга. Пролетка на стоячих рессорах и с низенькой спинкой, не дающей возможности к ней прислониться. Богатые и деловые люди имеют пролетку более удобную. Иногда она имеет узкое сиденье, исключительно для одного человека, и называется „эгоисткой“. В „собственные“ пролетки нередко запряжены две лошади: в корню и на пристяжке. Последняя низко наклоняет голову к земле и извиваясь, обыкновенно забрасывает седока пылью и комьями грязи.

В свободное от постов время встречаются кареты, сквозь окна которых виднеются перины, одеяла и подушки. У кучера на правой руке сделана перевязь из полотенца, а иногда из лент, которыми украшаются и гривы лошадей. Это торжественно везут какое-нибудь купеческое приданое пред предстоящей свадьбой.

Наряду с дрожками существует „калибер“ или „гитара“, своеобразно устроенная машина для передвижения, на продолговатом сиденье которой нужно помещаться, если ехать вдвоем, боком друг к другу и обращенными лицами в противоположные стороны, а если ехать одному, то для большей устойчивости нужно сидеть верхом. Этот род передвижения особенно дешев в 50-х годах: от Знаменской площади до Адмиралтейства или до Сенной площади можно было

доехать за десять копеек. На спине извозчиков висит на ремешке белый жестяной билет с номером.

На Невском нет ни трамваев, ни конно-железной дороги, а двигаются грузные, пузатые кареты, огромного размера со входной дверцей сзади, у которой стоит, а иногда и сидит, кондуктор. Это омнибусы, содержимые мною купцом Синебрюховым и курсирующие преимущественно между городом и его ближайшими окрестностями — селом Александровским на Шлиссельбургском тракте, Полюстровом возле Охты и т. п. Неуклюжие и громоздкие, запряженные чахлыми лошадьми, они вмещают в себе до 20-ти пассажиров и движутся медленно, часто останавливаясь для приема и выпуска таксовых. В первой половине 60-х годов появляются на улицах изящные одноконные каретки „товарищества общественных экипажей“. Для них установлена такса. На козлах сидит, в сером цилиндре и гороховом пальто, бритый кучер с длинным бичем в руках; лошади в шорах и английской упряжи. В населении, быстро установилось, в виду сходства бича с удочкой, популярное название и кучера и экипажа „рыболовом“. Разные злоупотребления со стороны публики и самих рыболовов прекратили за разорением товарищества этот кратковременный способ передвижения.

Между проходящими, часто можно встретить бравого молодца, идущего быстрой походкой, одетого в форменный короткий сюртук военного образца, в черной лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и большой черной сумкой через плечо. Это—почтальон, которому популярный в 40-х годах, ныне забытый, поэт Мятлев посвятил стихотворение, начинающееся так: „Вот он—форменно одет—вестник радостей и бед; сумка черная на нем, кивер с бронзовым орлом. Сумка с виду хоть мала, много в ней добра и зла. Часто рядом в ней лежит и банкротство и кредит и т. д.“.

Среди идущих много военных: солдаты в длинных серых шинелях, надетых в рукава, офицеры в шинелях светло-серого сукна с перелинами в накидку. У высших чинов высокие треугольные шляпы с пучком черных или пестрых перьев наверху. В конце пятидесятых годов эти шляпы заменяются кепи, шинели заменяются пальто, а генералам присвоены ярко-красные брюки с золотым лампасом.

На улицах много разносчиков с лотками, свободно останавливающихся на перекрестках для торговли игрушками, мочеными грушами, яблоками. Пред Гостиным Двором и на углах мостов стоят продавцы калачей и саек, дешевой икры, рубцов и вареной печенки. У некоторых на головах лотки с товаром, большие лохани

с рыбой и кадки с мороженым. Они невозбранно оглашают улицы и дворы, в которые заходят, восхвалением или названием своего товара „по грушу—по варену!“, „шток-фиш!“ и т. д. Торговцам фруктами посвящен был в те годы популярный романс: „Напрасно, разносчик, ты в окна глядишь, под бременем тягостной ноши. Напрасно, разносчик, ты громко кричишь: пельцыны, лимоны хороши“. Эти пельцыны и лимоны привозились тогда на кораблях и были гораздо большей редкостью, чем в последнее время.

К разносчикам присоединяются торговцы платьем и татары, и дворы больших домов оглашаются громкими предложениями: „старого платья продать!“ и „халат, халат, халат!“ До 60-х годов прохожие не курят, — это строго воспрещается.

Переходя через Знаменскую площадь, мы оставляем направо ряд параллельных улиц, застроенных деревянными домами, напоминающими далекую провинцию. Некоторые из них со ставнями на окнах, задернутых днем густыми занавесками, имеют незавидную репутацию, на которую завлекательно указывают большие лампы с зеркальными рефлекторами в глубине всегда открытого крыльца. Эти улицы, в которых обычно поселяются разного рода ворожеи и гадалки, пересекаются одной, сравнительно

широкой и ведущей к Смольному монастырю,— Слоновой, названной так, потому что на ней когда то помещался особый двор для слонов, подаренных Елизавете Петровне персидским шахом. Ныне это Суворовский проспект.

Невский вплоть до Аничкова моста вымощен булыжником. Мы встретим торцовую мостовую, лишь перейдя последний. Вступая на Невский, мы оставляем влево на берегу Лиговки, деревянный одноэтажный дом, в котором „упорствуя, волнуясь и спеша“, работал и умер Виссарион Григорьевич Белинский. В этом доме происходил у него живой обмен мыслей с небольшим кругом людей, умевших понять и оценить великого критика. Здесь писались глубокие и возвышенные страницы его отзывов о различных явлениях литературной жизни. Сюда незадолго до его смерти пришло приглашение явиться „для беседы“ в знаменитое Третье отделение. Здесь одному из его посетителей пришлось выслушать рисующий Белинского упрек, обращенный им к жене, напоминавшей, что стынет поданный обед: „как можно думать об этом, когда мы еще не кончили спора о бытии Бога“. Отсюда прах Белинского в 1848 году отвезли на далекое Волково кладбище, а его имени нельзя было упоминать в печати. Могила долгое время была оставлена без ухода и „память благодарная друзей—дороги к ней не проторила“ (Некрасов).

Дома на Невском в значительной степени имеют однообразный, совершенно бесцветный характер, постепенно по направлению к Аничкову мосту увеличиваясь в объеме и высоте. С правой стороны — ряд домов, в которых помещаются экипажные заведения до угла Шестилавочной, ныне Надеждинской, с выставкою за стеклами широких окон обширных помещений карет, колясок и дрожек. Чередясь с ними, идут в нижних этажах глубокие темноватые помещения, в которых часто находятся театры марионеток, случайные выставки и кабинеты восковых фигур, очень популярные в то время. Шестилавочная улица не так длинна, как ныне, и между нею и Невским, на линии теперешней Жуковской, тогда Малой Итальянской, существует сплошная стена разных построек.

Пройдя Шестилавочную, мы встречаем двухэтажный дом Меняева, разделенный на два флигеля, среди которых открывается обширный двор с деревянным красивым домиком посредине. На балконе одного из каменных флигелей, выходящем на Невский, сидит в халате, с длинной трубкой в руках и пьет чай толстый человек с грубыми чертами обрюзглого лица. Это популярный Фаддей Венедиктович Булгарин, издатель и редактор „Северной Пчелы“ — единственной в то время газеты, кроме „Русского Инвалида“ и „Полицейских Ведомостей“, —

печатный поноситель и тайный доноситель на живые литературные силы, пользующийся презрительным покровительством шефа жандармов и начальника Третьяго отделения. Газета его, благодаря исключительному положению, пользуется распространением, помещая иногда, в легковесных фельетонах бойкого редактора, рекомендации различных угодных ему магазинов и предприятий. Для характеристики „Видока Фиглярина“, как называл его Пушкин, намекая на известного французского сыщика Видока, достаточно припомнить стихи того-же поэта: „двойной присягою играя, поляк в двойную цель попал: он Польшу спас от негодя и русских братством запятнал“.

На углу Невского и Литейной, в угловом доме, помещается известный и много посещаемый трактир-ресторан „Палкин“, где в буфетной комнате, с нижним ярусом оконных стекол, в прозрачных красках изображающих сцены из „Собора парижской богоматери“ Гюго, любят собираться одинокие писатели, к беседе которых прислушиваются любознательные посетители Палкина. Здесь бывали нередко поэт Мей и писатель Строев, и, с начала шестидесятых годов, заседает Н. Ф. Щербина, остроумная и подчас ядовитая беседа которого составляет один из привлекательных соблазнов этого заведения.

Почти рядом—дом графа Протасова, в лице которого звание гусарского полковника оригинальным образом оказалось соединенным с должностью обер-прокурора Святейшего Синода. В конце этой стороны Невского высится большой и многолюдный дом купца Лыткина, в котором обитают многие из артистов Александрийской сцены. В нем произошла в половине пятидесятых годов одна из житейских драм, произведшая сильное впечатление. На верх парадной лестницы с широким пролетом, ведущей в четвертый этаж, забралась старая седая женщина, почему-то позвонила у ближайших дверей и, бросившись вниз, разбила выступавший на толстой чугунной трубе газовый фонарь, погнула самую трубу и убилась до смерти, плавая в луже крови, которая всосалась в пол из песчанка и оставила трудно смываемое пятно. Оказалось, что несчастная жила в отдаленном углу Петербурга с нежно любимой воспитанницей, молодой девушкой. Со всем жаром последней и запоздалой страсти она влюбилась в посещавшего их почтового чиновника. Он сделал предложение воспитаннице и старуха, скрывая свои чувства, хлопотала о приданом для нее, о приготовлениях к свадьбе и присутствовала на бракосочетании, но на другой день ушла из своей опустевшей квартиры, бродила по Петербургу и так как реки и каналы были

покрыты льдом, облюбовала широкий пролет в доме Лыткина, чтобы покончить со своей невыносимой тоской. Пятно внизу пролета, которого нельзя было миновать проходящим жильцам, производило тягостное впечатление, и самоубийство постепенно создало ряд фантастических рассказов в то бедное общественными интересами время. В доме стали рассказывать, что старуха появляется по ночам на лестнице и раскрывает свои безжизненные объятия поздно возвращающимся домой, и один из жильцов, человек суеверный и нередко не трезвый, под влиянием этих рассказов даже выехал из дома.

Левая сторона Невского проспекта представляет необычный для настоящего времени вид. Там где теперь начинается Пушкинская улица, названная первоначально Новой, тянется длинный забор, а за ним огороды. Новая улица создалась лишь в половине 70-х годов. Узкая и обставленная громадными домами с маленькой площадкой, на которой позже поставлен ничтожный памятник Пушкину, она с самого своего открытия привлекла многолюдное население, среди которого были настолько частые случаи самоубийств, что пришлось в виду того, что в то время о каждом случае самоубийства производилось следствие со вскрытием трупа, — командировать к местному судебному следова-

телю нескольких помощников. Быть может скученность обитателей и какой-то угрюмый вид этой улицы оказались не без влияния на омраченную и исстрадавшуюся душу тех, кто находил, что „Mori licet cui vivere non placet“.

Первая улица налево Николаевская (по новому улица Марата) называлась прежде Грязною и была немощеная до своего переименования после смерти Николая I-го. С нее был ход на Ямскую, называвшуюся так от близ лежавшей Ямской слободы на Лиговке, где были обширные извозничьи дворы и стойла для почтовых лошадей. Эта слобода во второй половине 50-х годов выгорела, причем в ужасном пожаре, продолжавшемся несколько дней, сгорело много лошадей, упиравшихся от страху, когда их пытались вывести из горящих зданий. Ямская улица была впоследствии переименована в улицу Достоевского, ибо здесь находился дом казарменного типа, лестница которого с железными перилами вела к обшитым войлоком и продранной клеенкой дверям в квартиру, где в скромной обстановке, граничащей с бедностью, жил и умер Достоевский. От 29-го до 31-го января 1881 года, эта лестница была запружена лицами всех возрастов и общественных положений, стремившихся ко гробу, в котором, с лицом исхудалым и проникнутым глубоким выраже-

нием, похожим на радость, почивал великий писатель и столь-же великий страдалец.

У Аничкова моста с левой стороны и в то время уже высился монументальный дом князей Белосельских-Белозерских, впоследствии дворец великого князя Сергея Александровича. Дойдя до этих мест, мы сворачиваем на Литейную, где узкий тротуар идет мимо редких, но красивых казенных каменных домов, перемежающихся с деревянными. На углу Бассейной и Литейной—трехэтажный дом издателя „Отечественных записок“ А. А. Краевского, опытного и деятельного литературного предпринимателя, у которого долго работал Белинский. В этом доме много лет жил Н. А. Некрасов, после ряда тяжелых годов житейских испытаний, когда ему приходилось голодать и холодать, ходить зимой в соломенной шляпе, расписываться за неграмотных в Казенной Палате и предлагать на Сенной свои услуги желающим написать прошение,—когда он с полным основанием мог сказать, что „праздник жизни, молодости годы я убил под тяжестью труда и поэтом—баловнем свободы, другом лени—не был никогда“. Этот труд, в связи с большим поэтическим даром, вдохновляемым „музой мести и печали“, создал ему видное положение и уже в 60-х годах у крыльца его квартиры стоял собственный экипаж издателя и редактора влиятельного „Совре-

менника“, а в двери квартиры ходили такие люди, как Тургенев, Анненков и Добролюбов. У под'езда этой квартиры в 1877 году собралась огромная толпа поклонников поэта и во внушительном шествии проводила его многострадальный прах на кладбище. В этом-же доме жил, до переселения на юг России, знаменитый хирург и педагог Николай Иванович Пирогов— один из тех людей, которые составляют настоящую славу России. Вероятно, отсюда хотел он навсегда уехать за границу после того, как, вернувшись с Кавказа, где в течение 9-ти месяцев, на полях сражения по целым дням производил свои изумительные операции и применял впервые для обезболивания эфир,—был самым грубым образом принят военным министром, Князем Чернышевым и должен был выслушать, во враждебной ему конференции медико-хирургической Академии, строгий выговор за несоблюдение состоявшегося в его отсутствии приказа о каких-то выпущках или петличках на мундире.

Идя далее по направлению к Неве, мы встречаем на углу Кировной одноэтажный, выкрашенный в темную краску, узкий деревянный дом, в котором жил военный министр Александр I, Аракчеев. На этом месте теперь стоит громадный дом армии и флота, в котором происходил, в 1917 году, процесс другого, зловещей памяти, воен-

ного министра—Сухомлинова. Далее, пред деревянным Литейным мостом через Неву, против Арсенала, с выдвинутыми перед ним старинными пушками, стоит старый Арсенал, построенный при Екатерине II, довольно заброшенный и неприятный. В нем в 1866 году были открыты новые судебные установления, пришедшие на смену старых бесгласных и продажных судов, служивших бездушной канцелярской волоките, называвшейся, вопреки истине, правосудием. В этих стенах с тех пор осуществлялась, поскольку это доступно слабым человеческим силам, „правда и милость“ до тех пор, покуда это здание не было разграблено и опустошено внутри бессмысленной и озверелой толпой, не ведавшей что творит.

Литейный мост манит нас перейти на Выборгскую сторону, где тянутся здания Медико-Хирургической Академии, в одной из длинных и невзрачных одноэтажных деревянных построек которой помещается госпиталь для душевно-больных, в совершенно несоответствующей своему назначению обстановке, несмотря, однако, на которую там, с начала 60-х годов, читает, иногда сидя на кровати больного, увлекательные лекции сухощавый человек с пронзительным взором дышащих умом глаз. Это отец русской психиатрии—Иван Михайлович Балинский.

От Академии мы сворачиваем вправо, и по длинной Симбирской улице, совершенно провинциального типа, очень хорошо описанной Гончаровым в „Обломове“, приходим, миновав опять Новый Арсенал, в пригородную местность, носящую название Полюстрово от близ лежащего селения, в котором находятся железистые минеральные воды, ныне заброшенные, но в то время довольно усердно посещаемые. Полюстрово, около которого часто бродят группы цыган, отделяется от Невы обширным парком, с искусственной развалиной средневекового замка и с великолепным домом с башенками графа Кушелева-Безбородко. К этому дому, в 50-х годах, под'езжали и подплывали, нередко, многочисленные посетители, привлекаемые гостеприимством хозяина, сделавшегося первым издателем „Русского Слова“ и любившего играть роль мецената. У него, между прочим, бывал Александр Дюма—отец, во время посещения им Петербурга, пред поездкой по России, послужившей поводом для ряда совершенно неправдоподобных выводов и рассказов в описании им своего путешествия. Свойственник домохозяина, один из довольно известных в пятидесятых годах поэтов, усиленно предававшийся „бесу пьянства“, на одном из таких обедов, сильно нагрузившись уже за закуской, после настойчивых намеков о желании при-

сутствующего светского общества услышать какой-нибудь экспромт, встал, пошатываясь, и, к ужасу хозяина, произнес: „графы и графини!— счастье вам во всем, мне ж— в одном графине, и при том большом“, и грузно опустился на свое место.

На противоположном берегу Невы, из-за лесных складов, с которых по ночам раздается переключка сторожей „Слу-ш-а-а-й!“, виднеется Таврический дворец—местопребывание ненаходящихся на действительной службе престарелых фрейлин. Там живут, между прочим, две старушки С., про выскомерие старшей из которых злые языки рассказывают, что, верная своей привычке, она, даже представ пред Вечного Судью, наведет на него лорнет и скажет по французски: „Очень рада Вас видеть. Я много слышала о Вас в доме Татьяны Борисовны Потемкиной (известной своим богомольством аристократки). Представьте мне Ваших архангелов“.

Обширный парк при дворце, недоступный для публики, окружен глубоким рвом и обнесен высоким деревянным заостренным наверху частоколом. Эта местность считается почти загородной. От нее идут: Сергиевская, Фурштадская и Кировная улицы, и отсюда же с пустой площади, на которой впоследствии был выстроен манеж Саперного баталиона, обра-

щенный затем в церковь Косьмы и Демьяна, начинается Знаменская улица. Здесь на углу, недалеко от пустынного тогда Преображенского плаца, жил долгое время поэт Алексей Николаевич Апухтин, несправедливо определяемый критикой, как *светский* писатель, несмотря на его глубокие по содержанию и превосходные по стижу „Реквием“, „Сумасшедший“, „Недостроенный памятник“, „Год в монастыре“ и „Из бумаг прокурора“. Одержимый болезненной тучностью и страдая от какой-то непережитой за всю жизнь сердечной драмы, Апухтин, в сущности, был весь и в жизни, и в произведениях проникнут печальным настроением, сквозь которое иногда пробивались остроумные выходки. Он сам посмеивался над собой, находя печальным положение человека, для которого жизнь прожить легче, чем поле перейти, и рассказывая об удивленном вопросе маленькой девочки, показывающей на него пальцем и спрашивающей: „Мама, это человек или нарочно?“ Знаменскую пересекают: Бассейная и Озерной переулок, носящие свои названия от обширного бассейна, находящегося на границе Песков, впоследствии засыпанного с разведением на его месте сада. В Озерном переулке существует и до сих пор уединенный, с садом, обнесенным прочным забором, деревянный дом с мезонином. Это местопребывание в 20-х го-

дах Кондратия Селиванова, основателя и главы скопческой ереси. В этом доме до конца семидесятых годов, а может быть и позже, был, так называемый, скопческий *корабль*, происходили радения и, вероятно, производились безумные членовредительства, основанные на ложном понимании слов Христа. Здесь по легенде бывал и Александр I, сначала благосклонно относившийся к Селиванову, местопребывание которого в Шлиссельбурге сделалось потом предметом благочестивых паломничеств сектантов, называющих себя „белыми голубями“.

Пройдя Бассейную и перейдя с Литейной в Симеоновский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу, которая в XVIII-ом столетии называлась Хамовой. В конце нее, в доме № 3, поселился в 50-х годах Иван Александрович Гончаров. Часто можно было видеть знаменитого творца „Обломова“ и „Обрыва“, идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу „Франция“ на Мойке или в редакцию „Вестника Европы“ на Галерной. Иногда у него за пазухой пальто сидит любимая им собачка. Апатичное выражение лица и полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что он сам олицетворение своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью

таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность, душа, а в глазах этих, по временам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность. Старый холостяк—он обитает 30 лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор, наполненной вещественными воспоминаниями о „Фрегате Паллада“. В ней бывают редкие посетители, но подчас слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги, к которым он относится с трогательной любовью и сердечной заботливостью.

Симеоновский мост через Фонтанку приводит нас на Караванную, где много лет, на месте разрушенного впоследствии памятника великому князю Николаю Николаевичу, стоит круглое обширное деревянное здание „панорамы Палермо“, уступившее затем, в начале 60-х годов, свое место цирку.

Караванная выводит нас к Аничкову дворцу и к Фонтанке. Мы останавливаемся на мосту и тогда уже украшенном четырьмя бронзовыми фигурами лошадей, отлитыми по проекту барона Клодта. За мостом начинается самая красивая часть Невского. Но, не переходя мост, хочется остановиться на мимолетном знакомстве с Фонтанкой. На Фонтанке ряд мостов, впоследствии переделанных. Большая часть из них одного типа, который ныне сохранен лишь в несколько

расширенном, против прежнего, Чернышевском мосте. На обоих концах речки, мосты своеобразной архитектуры, висящие на цепях. Один у Летнего сада и название носит „Цепного“. Около него, на левом берегу Фонтанки, помещается знаменитое „Третье отделение“, центр наблюдений и действий тайной полиции. Когда это Отделение было впервые организовано и поставлено под высшее начальство шефа жандармов, то, как говорит предание, первый шеф — граф Бенкендорф — просил у Николая I инструкции относительно действий вверенного ему управления, и в ответ получил носовой платок со словами: „Вот тебе моя инструкция: чем больше слез утрешь, тем лучше“. Однако, вскоре деятельность Третьего отделения, присвоившего себе вмешательство во внутреннюю жизнь обывателей и „обуздание печати“, от утирания слез направилась к возбуждению их пролития, так что не даром поэт (кажется Огарев), намекая на слухи о некоторых чувствительных способах назидания в этой деятельности, восклицал: „Будешь помнить здание у Цепного моста!“.

На другом конце Фонтанки помещается, так называемый, Египетский мост, тоже изящный и очень красивый, во вкусе египетских сооружений с горельефами и иероглифами. Он провалился под тяжестью проходившего отряда, ка-

валерии в начале девятисотых годов и не возобновлен в прежнем виде.

Вода Фонтанки сравнительно чистая, не напоминающая теперешнюю гнилую и вонючую бурду. Устроенные на ней купальни перемежаются с многочисленными рыбными садками. Зимой по покрывающему ее льду устраивается непрерывный санный путь. В остальное время по ней вдоль и поперек совершается плавание на яликах, своеобразной конструкции, с нарисованными по бокам носа дельфинами. Воду из Фонтанки пьют „ничтоже сумняся“ окрестные обыватели, причем водовозы (водопроводов до начала 60-х годов еще нет) доставляют ее в зеленых бочках, в отличие от белых, в которых развозят воду из Невы. Недаром сатирический поэт в „Колоколе“ жалуется Зевсу: „Громовержец, я-ли без усердия пью из Фонтанки воду, чтобы петь потом жалкую природу“... Фонтанка впадает в Финский залив, выделяя из себя рукав Черной речки. В этой местности находится Екатерингоф, ныне совершенно заброшенный, но в то время представлявший совершенно благоустроенный обширный парк, окружавший старинные, петровские постройки. Первого мая там происходило традиционное гулянье, на которое приезжала царская фамилия и стекались в лодках и экипажах массы гуляющих, чрезвычайно оживляя своим движением воды и берега Фонтанки.

От Измайловского моста на Фонтанке начинается Измайловский проспект, пересекаемый улицами, носящими название рот Измайловского полка, с большими пустырями и жалкими домишками. На проспекте против собора еще не существует бездарного подражания не менее бездарной колонне „Победы“ в Берлине, а в конце, до начала 60-х годов, еще нет вокзала Варшавской железной дороги.

За Египетским мостом начинается нынешний Ново-Петергофский проспект с Кавалерийским училищем, носившим название школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В этом училище, когда оно помещалось еще на месте нынешнего Мариинского дворца, учился Михаил Юрьевич Лермонтов и, благодаря основанному впоследствии музею его имени, о нем сохранилась живая и осязательная память. Уже здесь в великом поэте крепла и окончательно создавалась та „таинственная повесть“ его жизни, которая определила его поэтический пессимизм и мизантропию, за что он с такой сильной горечью упрекал Бога в своем „Благодарю“.

На правом берегу Фонтанки, начиная от Невы, Летний сад, перед которым, на Царицыном лугу, весною обыкновенно происходил блестящий „майский“ парад для всех гвардейских войск столицы и ее окрестностей, оканчивавшийся прохождением перед царской ставкой

рысью конвоя, состоявшего из уроженцев Кавказа в их красивых костюмах, с острыми меховыми шапками и откидными синими рукавами над желтыми кафтанами у лезгин, кольчугами и круглыми шлемами у чеченцев и т. п. Вид стройно движущейся пехоты и проходящая разными аллеями конница, „сиянье касок этих медных и клочья сих знамен победных“ вызывает в зрителях сильное и горделивое впечатление. Кто мог предвидеть пророческие слова Владимира Соловьева, сказанные за 10 лет до злополучной японской войны, что „желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен“.

В саду же стоит памятник Крылову, и вокруг него всегда резвятся дети. На них однако довольно песsemистически глядел поэт Шумахер, посвятивший памятнику следующие стихи: „чугунный дедушка с гранитной высоты глядит, как резвятся ребята, и думает: ах милые зверята, какие, выросши, вы будете скоты“! Монументальная решетка сада, составлявшая, по рассказам, предмет удивления иностранцев, еще не испорчена бесвкусной, совсем в другом стиле, часовней с горделивой надписью: „не прикасайтесь к помазаннику Моему“, так жестоко опровергнутой дальнейшими событиями, подобно находящейся над фронтоном дворца Императора Павла I надписи: „Дому Твоему подобает Святыня Господня в долготу дней“.

В Духов день Летний сад представлял своеобразное зрелище. Согласно укоренившемуся обычаю, представители среднего торгового сословия приходили сюда всей семьей с нарядно одетыми взрослыми дочерьми и гуляли по средней аллее, а на боковых дорожках прогуливались молодые франты, жаждавшие „цепей Гиминей“ и нередко сопряженного с этим денежного приданого. Они приглядывались к проходившим барышням, а сновавшие между ними юркие женщины, в косынках на голове, и пестрых шаялах, сообщали интересующимся надлежащие сведения и предлагали свои услуги для знакомства с возможными брачными последствиями. Это были свахи. Кажется, этот обычай прекратился после громадного петербургского пожара в 1862 г. По тому же берегу, за Летним садом следовал Михайловский замок, обнесенный со всех сторон рвом, с подъемными мостами, впоследствии засыпанными.

У Аничкова моста пред дворцом идет, выходя на Невский, открытая Галерея с колоннами, впоследствии обращенная в жилые помещения. Она служила излюбленным местом для прогулок няней с детьми в дурную погоду.

За Чернышевым мостом начинался Апраксин рынок, состоявший, главным образом, из деревянных рядов со всевозможными видами торговли, примыкавший к выходившему на Са-

довую длинному каменному зданию, вмещавшему в себе ряд лавок, отличавшихся от магазинов Гостинного Двора большей дешевизной цен и развязностью прикащиков, настойчиво зазывавших к себе покупателей, восклицаниями: „пожалуйста к нам! у нас покупали“; „товар самый английский“ и т. п.

Вспыхнувший в 1862 году громадный пожар, захвативший собою и противоположный берег Фонтанки, истребил Апраксин рынок как раз в Духов день, когда хозяева многих торговых помещений гуляли со своими расфранченными дочками.

Возвращаемся назад к галлерее у Аничкова дворца. Пройдя ее и миновав один придворный дом, попадаем в узкий и пустынный Толмазов переулок. Он пересекает Александринскую площадь и выходит на Большую Садовую, в которой сосредоточивается главная торговля Петербурга, не имеющая характера оптовой. Магазины и ряды, здания с лавками следуют одни за другими непрерывно, уступая место лишь Государственному банку и Пажескому корпусу. На середине пути по Садовой лежит обширная Сенная площадь с легкими навесами, бараками и ларями, не имеющими ничего общего с большим крытым рынком, возникшим здесь впоследствии. Это центральное место сбыта пищевых продуктов по сю сторону Невы. Перед Рожде-

ством и Пасхой здесь, как выражается народ, стоит „неотолченная труба“ покупателей, рядами и горами высятся всякая снедь, среди которой пред Рождеством преобладают в огромном количестве гуси и замороженные свиные туши, распиленные пополам. Их вид подал Н. И. Пирогову, часто проезжавшему мимо, мысль замораживать и распиливать также трупы, для показания расположения внутренних частей человеческого тела. Атлас рисунков с этих препаратов долгое время составлял драгоценное приобретение каждого медицинского учреждения, имевшего собственную библиотеку.

Когда мы подходим к концу Сенной площади, нам пересекает дорогу идущая со стороны Демидова переулка большая группа людей, одетых в серые куртки с бубновыми тузами на спине. Это ссыльно-каторжные из пересыльной тюрьмы, помещающейся в Демидовом переулке. Они идут, звеня цепями, в серых войлочных шапках на полубритых головах, понурые и угрюмые, а сзади на повозках едут следующие за ними жены, часто с детьми. Отряд войск окружает эту группу. Прохожие останавливаются и подают калачи, булки и милостыню „несчастливым“. Они следуют на двор Петербургско-Московской дороги, где их рассядут по арестантским вагонам и отвезут в Московский пересыльный замок. Там, если

только он еще жив, их встретит сострадательное участие „святого доктора“ Гааза, но затем они двинутся по лежащей через Владимир дороге в Сибирь, перенося и зной и холод, скудное питание и насильственное сообщество в течение долгих месяцев пешей ходьбы, покуда не достигнут Тобольска, где особый Приказ распределит их в места назначения и для них потянется долгая жизнь страданий, принудительной работы и сожительства с чуждыми, озлобленными и нередко порочными в разных отношениях людьми. Передвижение по этапу, то есть от одной грязной тесной и вонючей казармы для ночевки до другой, обозначалось в народе словом „идти по Владимирке“ и лишь развитие железных дорог и пароходства, а впоследствии, приспособление для пересылки арестантов судов добровольного флота изменило картину „Владимирки“ и внесло некоторое улучшение в дело населения Сибири пересыльными. Однако это совершалось весьма медленно и, еще в первое десятилетие девятисотых годов, благороднейший борец за свободу совести и веротерпимости, вовсе еще не старый член Государственной Думы Караулов мог сказать отцу Вераксину, крикнувшему во время его речи:— „каторжник“! „да, почтенный отец, я шел, приговоренный за желание изменить существующий строй без употребления насильственных средств,

звеня цепями и с бритой головой и кандалами на ногах по бесконечной „Владимирке“ за то, что смел желать и говорить о том, чтоб вы были собраны в этом собрании. То, что я был каторжник, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез“. Эти слова были приведены на его могильной плите, но по требованию Святейшего Синода, закрыты—заделаны металлической доской.

На Большой Садовой, близ Кокушкина моста, помещалась в 50-х годах редакция: „Библиотеки для чтения“. После беспринципного, но талантливое—Сеньковского (Барона Брамбеуса) редакторство перешло к Алексею Феофилактовичу Писемскому. Грузный, неуклюжий, с растрепанными черными волосами и большими на выкате, умными глазами, с костромским выговором на „о“, Писемский был, несомненно, одним из самых выдающихся русских писателей, как по своей наблюдательности, так и по самобытному характеру своего творчества. Его „Тысяча душ“ служила как-бы продолжением „Мертвых душ“ в более современной бытовой обстановке, и представляла ряд мастерски очерченных характеров и общественных условий, почерпнутых из самой жизни без идеализации и преувеличения. Оригинальный во всей своей

повадке и самостоятельный во взглядах, он пришелся не по вкусу тогдашней критике, на травлю которой ответил „Взбаламученным морем“, в котором, по своим словам, изобразил, если не всю современную ему Россию, то, во всяком случае, всю ее ложь.

Еще далее по Садовой, на углу Екатерингофского проспекта, против Юсупова сада, жил до самой своей смерти Аполлон Николаевич Майков. В его сухощавой фигуре и тонких чертах продолговатого лица было нечто, напоминающее изображение древних подвижников, которых он с такой любовью описывал в своих стихах. Глубокий знаток античного мира и властитель гармонии стиха, он оставил нам замечательную поэму из римской жизни во время первых проявлений христианства—„Смерть Люция“ и горячо, хотя и ненадолго, приветствовал эпоху великих реформ. Он жил замкнуто, но умел знакомить своих редких посетителей с лучшими произведениями современных писателей, превосходно их читая и искренно ими восхищаясь.

Пройдя через пересекающий Садовую Вознесенский проспект, мы выходим к Мариинскому дворцу и на Большую Морскую. Дворец еще принадлежит герцогине Лейхтенбергской, Марии Николаевне, дочери Николая I и последний каждый день в определенные часы, медлен-

ной и величавой походкой, ходит на свидание с любимой дочерью, давая разными своими встречами материал к рассказам полудостоверного свойства, которыми чрезвычайно любило услаждаться тогдашнее петербургское общество, во всех своих слоях, за отсутствием других интересов. В этом человеке уживались узкость и односторонность государственных взглядов с остроумной находчивостью, формальное бездушие и смелая решимость, верность традициям с ненавистью к свободной мысли. Деятельность его в каждой из этих областей давала обильный материал для таких рассказов. Памятник, поставленный ему, в конце 50-х годов, на Мариинской площади, с великолепной лошадию работы Клодта, своими барельефами наглядно указывает на бесплодность его царствования, из которого художник Рамазанов не мог извлечь ничего, кроме сцены на Сенной площади во время холеры и издания „Свода Законов“, в котором в обилии заключались статьи, служившие явным отрицанием настоящего смысла аллегорических женских фигур Правосудия, Веры и т. д. утвержденных по бокам поста-мента. Рассказывали, что вскоре после откры-тия памятника какой-то „дерзновенный искус-ник“ ухитрился прикрепить скачущему коню кусок картона с надписью: „Не догонишь“! очевидно, имея в виду скачущего по ту сторону

Исаакиевского собора Петра Великого. Этот собор постоянно был окружен лесами и был освящен лишь в 1858 году, после чего леса снова стали возвышаться то у одной, то у другой из его сторон.

Направляясь по Морской к Поцелуеву мосту, мы встречаем, на месте нынешней реформатской церкви, длинное, деревянное здание, в котором одно время помещался зверинец Зама, а затем, во второй половине 50-х годов, подвизалась в пении и плясках знаменитая Юлия Пастрана—красиво сложенная женщина с приятным голосом и с лицом большой мохнатой обезьяны, напоминавшем нечто среднее между гориллой и павианом. Затем здесь-же был открыт и долгое время существовал весьма богатый анатомический музей.

За Поцелуевым мостом, на площади стояли два театра—Большой, огромное здание с прекрасной акустикой, которое было потом переделано в Консерваторию, с акустикой незавидной, и Театр-Цирк, о внутренней жизни которых мы поговорим далее.

А теперь переходим по только что отстроенному Благовещенскому, ныне Николаевскому, мосту, на котором еще нет часовни, на Васильевский остров. Вскоре после его открытия он послужил местом для одной сцены, несколько театрального характера, которые любил и умел

делать Николай I, чтобы влиять на воображение обывателей. Во время проезда его по набережной, на мост везжали одинокие дроги с крашенным желтым гробом, и укрепленной на нем офицерской каской и саблей. Никто не провожал покойника, одиноко простившегося с жизнью в военном госпитале и везомым на Смоленское кладбище. Узнав об этом от солдата возничего, Николай вышел из экипажа и пошел провожать прах неизвестного офицера, за которым вскоре, следуя примеру Царя, пошла тысячная толпа.

Васильевский остров почти такой-же, как и ныне. На нем перемен мало, только вокруг стоявшего на пустынной площади памятника Румянцеву разведен сад. Тут же неподалеку, в первой линии, три замечательных дома. В одном жил долгое время баснописец Иван Андреевич Крылов, в двух комнатах большой запущенной квартиры, среди весьма непоэтического беспорядка в об'ятях той лени и неподвижности, которые много лет мешали ему перевесить криво висевшую над его любимым местом и угрожавшую падением на голову картину. Рядом дом, где жил знаменитый историк Николай Иванович Костомаров, изобразитель в художественных образах, нашей старой жизни и его деятелей. Еще далее по Кадетской линии, отделенный от здания первого кадетского кор-

пуга, стоит двухэтажный каменный дом, дорогой по воспоминаниям для всех, кому близко гражданское развитие родины. Здесь, в конце 50-х годов, под председательством графа Ростовцева, заседали Редакционные комиссии, выработавшие план и осуществление освобождения крестьян, т.-е. отмену того ига рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия. В здании Академии Художеств происходили осенние выставки картин. В 50-х и начале 60-х годов на них толпится публика, чтобы видеть знаменитую картину Иванова: „Явление Христа народу“—и „Княжну Тараканову“ Флавицкого. В нижнем этаже здания, окнами на Неву и „сих громадных сфинксов“, проживает вице-президент Академии, престарелый граф Федор Петрович Толстой—автор глубоко талантливых и тонких гравюр и между прочим „Душеньки“ во вкусе Флаксмана. Двери его обиталища гостеприимно открыты для представителей науки и искусства, среди которых частым посетителем является желчный и даровитый поэт Н. Ф. Щербина. Недалеко от Академии, не доходя до 6-ой линии, на набережной дом, с выдающимся балконом—фонарем, где живет очень популярный в Петербурге старый адмирал Петр Иванович Рикорд. Он устраивал Петропавловск на Камчатке и командовал затем эскадрой, предназначенной защищать Крон-

штадт против англо-французского флота в 54-ом и 55-ом году, когда, грозные по тому времени, гранитные укрепления Кронштадта и подводные мины держали винтовые неприятельские корабли на почтительном расстоянии от наших деревянных трехдечных парусных кораблей. Рикорд, живший летом обыкновенно на своей даче в Полюстрове, ворота которой состояли из двух громадных челюстей кита, вывезенных с Камчатки, был человек очень оригинальный. Его величавая наружность, густая серебряная седина, привычки постоянно вставлять в свою речь слова „выходит—вылазит“ и интересные рассказы из прошлого невольно привлекали к себе особое внимание слушателей. Он любил вспоминать первые годы XIX века, когда ему пришлось служить под начальством первого морского министра, маркиза де-Траверсе, в память которого моряки долгое время называли ближайшую к Петербургу часть Финского залива „Маркизовой Лужей“. Вспоминая о последнем, Рикорд охотно рассказывал характерный случай из служебных нравов того времени. В Кронштадте умер моряк вдовец, оставивший на попечение своего друга, тоже моряка, двух сирот. Пенсии тогда не существовало и, истощив свои личные средства, моряк пришел на прием министра просить помощи сиротам, но получил отказ за неимением свободных средств.

На следующий прием он пришел опять и выслушал резкое повторение того-же. На следующий затем прием он явился снова. Выйдя из кабинета и увидев его в числе просителей, вспыльчивый и раздражительный Траверсе, пошел, минуя всех, прямо к нему и закричал: „Ты что-же, смеяться надо мной приходишь, несмотря на то, что тебе два раза уже отказано“, и, когда моряк горячо повторил свою просьбу, Траверсе, потерявший самообладание, со словами: „Вот тебе ответ“ дал ему пощечину, и, как это бывает со вспыльчивыми людьми, сразу пришел в себя и остановился, пристыженный на месте. Получив удар, моряк первое мгновение схватился было за свой кортик, но затем поднес руку к зардевшейся щеке и, бросив на Траверсе печальный взгляд, сказал, показывая на щеку: „хорошо, Ваше Сиятельство, это мне, ну, а сиротам-то что-же?“ Траверсе заплакал, схватил его за руку и... сироты получили пособие.

Пред университетом были таможенные склады, окруженные узкой полосой чахлого сада с решеткой, на месте нынешнего Гинекологического института. Это, так называемый Биржевой сквер, где весной, с приходом кораблей, разными иностранцами открывалась торговля раковинами, черепахами, золотыми рыбками, попугаями и обезьянами. Сюда в это время стекались по-

купщики и молодежь, для которой еще не существовало Зоологического сада. Тут иногда происходили забавные сцены и недоразумения. Рассказывают, что какой-то простолюдин из украинцев, любовавшийся серым попугаем и узнавший от продававшего итальянца, что таковой стоит сто рублей, на другой день принес продавать большого петуха и потребовал у желавшего купить тоже сто рублей, отвечая на его удивление указанием на попугая.— „Да, ведь он может говорить, сказал тот, так за то и такая цена“.— „А мой не говорит, но джже думает“, ответил украинец.

Нынешнего Биржевого моста не существовало, и на Петербургскую сторону, имевшую совершенно провинциальный вид, можно было переходить исключительно по Тучкову мосту. Большой проспект, с одной стороны, и запущенный Александровский парк, с другой—вели на Каменноостровский проспект, состоявший из редких построек, перемежающихся с длинными заборами, за которыми были обширные огороды. Единственное большое каменное здание на этом пути был Александровский лицей. Строгановский мост соединял Петербургскую сторону и Аптекарский остров с Каменным островом, на котором в июле каждого года, с половины 50-х годов, в день семейного праздника царской фамилии давался блистательный фейерверк, при-

чем пускалось сразу громадное количество ракет.

Возвращаемся к деревянному Дворцовому мосту, плавучему, как и все другие на Неве, за исключением Благовещенского, и переходим к Зимнему дворцу. Перед ним большая Дворцовая площадь и другая менее обширная, примыкающая к набережной Невы. На ней еще не было сада — и производились разводы, а во время крымской войны смотр маршевым батальонам. При одном из таких смотров произошел, по словам Герцена, характерный по тому времени случай, долго служивший темой для разговоров. Проходя по фронту, Николай I заметил у одного из солдат на груди два Георгиевских креста. На вопрос его, когда и где они получены, георгиевский кавалер, из сданных в солдаты семинаристов, вспомнив уроки реторики, ответил: „Под победоносными орлами Вашего Величества“. Николай, недовольный такими цветами красноречия, нахмурился и пошел далее, но сопровождавший его генерал подскочил к солдату и, поднося сжатые кулаки к его лицу, прошипел: „В гроб заколочу Демосфена!“

Направо от Дворцовой площади начинается скудный бульвар, отделяющий Адмиралтейство от длинной и обширной площади, где впоследствии возник нынешний сад. На этой площади, до разведения сада, строились на масленицу и Пасху

балаганы, карусели и зимою ледяные горы. Все это представляло чрезвычайно оживленный и оригинальный вид. Голоса сбитеньщиков и торговцев разными сладостями, звуки шарманок, громогласные нараспев шутки и прибаутки раешников (например, „а вот извольте видеть, сражение: турки валятся, как чурки, а наши здоровы только безголовы“) и хохот толпы в ответ на выходки „дедов“ с высоты каруселей, сливались в нестройный, но веселый хор. Представления в некоторых балаганах, например, Легата и Лемана отличались большой роскошью обстановки. В некоторых из них ставились специально написанные патриотические пьесы с эволюциями и ружейной пальбой. В конце 40-х годов, в одном из таких балаганов, двери которого по печальной непредусмотрительности отворялись внутрь, произошел пожар. Публика бросилась бежать, завалила собой все выходы и задохлась в дыму. Очевидцы не могли забыть страшной картины, представившейся им, когда после работы пожарных, одна из стен балагана была повергнута на землю. Гуляющие „на балаганах“, по тогдашнему выражению, с любопытством ожидали проезда институток. Их обвозили вокруг площади в придворных четырехместных каретах с лакеями в красных ливреях. Из окон выглядывали молодые лица с выражением бесплодного любопытства, а окружающая мужская молодежь

громко расточала комплименты, сердившие хмурых классных дам.

Выходим на Невский, мало с тех пор изменившийся, и идем через Полицейский мост, слишком узкий и послуживший местом печальной катастрофы в конце 50-х годов, когда собравшаяся на иллюминацию, по случаю совершеннолетия Наследника престола, толпа так стеснилась на мосту, что под напором вновь подходивших, сломала перила моста, причем многие утонули в Мойке.

Пред Казанским собором площадь лишена растительности. Часовни перед Гостиным двором еще нет, и самый Гостиный двор представляет собой неуклюжее здание, лишенное нынешних орнаментов. При крайних входах в него расположены лотки торговцев ситниками, баранками и кренделями. В проходах по бокам средних ворот ютятся торговцы пирогами, нередко укоризненно отвечающие потребителю, выражающему неудовольствие на найденный в начинке обрывок тряпки:— „А тебе за три копейки с бархатом, что-ли?“

Пред Гостиным двором, между зданием и тротуаром, на вербной неделе устаривается пестрый торг игрушками, сладями и предметами домашнего хозяйственного употребления. Любимым развлечением для детей служат длинные узкие стеклянные трубки с водой и стеклянным

же чертиком внутри, который опускается вниз при давлении на замыкающую трубку резинку. В конце 50-х годов впервые появляются резиновые красные шары, наполненные газом, стоящие первое время по 5 рублей штука и привлекающие общее любопытство, в особенности когда ктонибудь по недосмотру упустит из рук подобный шар. Пред Рождеством это же место наполняется праздничными елками с бумажными гирляндами и другими украшениями.

Против Гостиного двора — Пассаж, составляющий предмет удивления приезжих провинциалов. Внутри его три этажа: в нижнем — магазины и помещения для небольших выставок. Во втором этаже разные мастерские и белошвейные, к которым, повидимому, применимы слова Некрасова из „Убогой и нарядной“: „не очень много шили там и не в шитье была там сила“. В третьем этаже помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж, служащий почему-то любимым местом прогулки для чинов конвоя в их живописных восточных костюмах. Концертная и театральная зала Пассажа во второй половине 50-х годов становится ареной очень интересных собраний и представлений: в ней происходят первые собрания акционеров возникающего общества водопроводов, причем

собравшиеся производят такие беспорядки, что председатель, известный финансист Евгений Иванович Ламанский закрывает собрание заявлением, что мы еще не созрели для публичности. Вслед затем в Петербурге происходит диспут Костомарова с приехавшим из Москвы академиком Погодиным о происхождении Руси от варягов или из Литвы. Противники оживленно спорят, делая взаимные уступки, при живейшем внимании публики, и Погодин заключает собеседование, указывая на это внимание, как на явный признак того, что мы *созрели*. Вслед затем по Петербургу ходят шуточные стихи: „Мы созрели, мы созрели, — веселись счастливый росс: из Москвы патент на зрелость академик нам привез“.

Вскоре затем в Пассаже начинается ряд литературных чтений, на которых выступают наши выдающиеся писатели. Достоевский с захватывающим искусством и чувством читает эпизоды из „Бедных людей“, Писемский *играет*, ибо иначе нельзя назвать его чтение отдельных мест из „Тысячи душ“. Бледнолицый и еще худощавый Апухтин декламирует свои стихи, и Майков постоянно выступает со своими „Полями“, причем злые языки шуточно сообщают, будто, при появлении на эстраде поэта, публика, которой надоело одно и то-же стихотворение, встречает автора возгласами из его-же произ-

ведения: „А там поля, опять поля“. Вслед затем начинаются и спектакли в пользу только что образовавшегося литературного фонда: ставятся „Женитьба“ и „Ревизор“. Роль Подколесина и городничего превосходно исполняет Писемский, а в числе „аршинников-самоварников“ находятся Тургенев, Островский, Некрасов и др. Хлестакова играет П. И. Вейнберг, и необыкновенным талантом отличается безвременно скончавшийся студент Ловягин.

Рядом с Гостинным двором, в большей думской зале, читаются, в 1862 году, первые публичные лекции в Петербурге из предметов университетского курса. На кафедре переполненного зала появляются профессора Петербургского университета, закрытого перед тем вследствие „студенческих беспорядков“ — Кавелин, Костомаров, Спасович, Стасюлевич и другие. Лекции пользуются чрезвычайным успехом, но, к сожалению, через два с половиной месяца прекращаются, по почину группы распорядителей, делающей из этого прекращения бесцельную и вредную для просвещения демонстрацию.

Александринская площадь заключает в себе плохо содержимый сквер, окруженный весьма изящной чугунной решеткой. В нем, в особом павильоне, помещается вафельное заведение госпожи Гебгарт, заседающей за прилавком в своем национальном голландском наряде и в

кружевом чепце над металлическими бляхами на висках. Впоследствии она расширяет свои операции и кладёт основание Зоологическому саду.

Сзади возвышается прекрасное здание Александринского театра. В то время театр был, в сущности, единственным местом для выражения общественных вкусов, настроений, симпатий и антипатий. Несмотря на то, что в первой половине 50-х годов, репертуар состоял, за исключением классических пьес, и то с большим цензурным разбором, из пьес псевдопатриотического характера и водевилей, в веселую ткань водевиля, с необходимой его принадлежностью — куплетами, вплетались иногда ироническая шутка по поводу того или другого общественного явления. Даже такой строгий критик, как Белинский, не мог отказать некоторым из водевилей в признании такого их достоинства. Декорации в Александринском театре были стары и постоянно, не взирая на место и время действия, повторялись. Бутафория была недостаточная и бедная. Освещение не удовлетворяло всем требованиям сценической постановки. Механические приспособления были довольно примитивны, но труппа, в общем своем составе, была превосходная. Братья Каратыгины, В. В. Самойлов, Брянский, Максимов I-ый, Сосницкий и, в особенности, незабвенный для тех, кто имел счастье его видеть,

Мартынов, высоко держали знамя своего искусства и видели в своей деятельности не профессию, а призвание. Их появление на сцене заставляло забывать всю неприглядную обстановку тогдашнего драматического театра: самовластие директора, канцелярские и закулисные интриги, нередкое непонимание лучших свойств того или другого артиста, цензурные „обуздания“, нелепость и неуместность „дивертисмента“ и зазывательный характер афиши. Чтобы оценить театральную цензуру достаточно указать на то, что для постановки „Месяца в деревне“ Тургенева было предъявлено требование, чтобы замужня героиня этого произведения, увлекающаяся студентом, была превращена во вдову. Для характеристики афиш стоит привести лишь названия некоторых пьес: „Вот так пилюли или что в рот, то спасибо“, „Дон Ранудо де-Калибрадос или что и честь, коли нечего есть“ или „В людях ангел не жена, дома с мужем сатана“ и т. д.

Самым выдающимся по разносторонности своего таланта был Самойлов. В некоторых ролях своих он был неподражаем. Трогательный до слез в своем безумии, в венке из пучков соломы, король Лир—внезапно просыпающийся из притворного бессилия и слабости Людовика XI,—вкрадчивый и грозный в своем властолюбии кардинал Ришелье, на долго запечат-

левались, благодаря его исполнению, в памяти зрителей и, рядом с этим, в той же памяти звучал акцент изображаемых им инородцев и необыкновенное умение оттенить комические стороны в водевиле. Каратыгин был артист классической школы, умный и очень образованный, что в то время в этой среде встречалось не часто, атлетического сложения, с могучим голосом и глубоко обдуманной мимикой. В трагических сценах он производил чрезвычайный эффект, как, например, в последнем действии драмы „Тридцать лет или жизнь игрока“ или в „Тарасе Бульбе“, переделанном для сцены. Но выше всех их был Мартынов. Воспитанник театральной школы, предназначенный для балета и случайно успешно сыгравший в каком то водевиле, он занял комические роли и достиг в них необыкновенного совершенства. Его мимика, голос, манера держать себя на сцене, смешить, не впадая в карикатуру, сделали из него заслуженного любимца зрительной залы. Один его выход из-за кулис уже вызывал радостную улыбку у зрителей. В упомянутой выше пьесе „Дон Ранудо“ в первом действии, изображая старого слугу обедневшего испанского гранда, он появлялся в самой глубине сцены, в конце улицы и, неся кастрюльку в руках, представлял хохочущего. Еще звуков его смеха не было слышно, а уже, при одном

его появлении, театр неудержимо хохотал... И тем не менее комизм не был его настоящим призванием. Это проявилось в конце 50-х годов, когда, под влиянием Островского, бытовая драма вытеснила прежнюю сентиментальную и ходульную мелодраму, как, например, „Эсмеральду“ и „Материнское благословение“, а с ней вместе постепенно упразднила и водевиль. Появление Мартынова в пьесе Чернышева „Испорченная жизнь“ и в роли Тихона в „Грозе“ открыла в нем такую глубину драматического таланта, такую вдумчивость и „заразительность“ влияния его таланта на зрителей, что он сразу недосыгаемо вырос и стало даже как-то странно думать, что этот артист, исторгающий слезы у зрителей и потрясающий их душу, еще недавно шутил на сцене и пел куплеты. Тот, кто слышал обращение Тихона в „Грозе“, у трупа утопившейся жены, к матери „маменька, это Вы ее убили, маменька!“ забыть этого не может. Достигнув апогея своего дарования, Мартынов угас. Всенародные похороны его были первым событием такого рода в Петербурге. В них выразилась любовь к артисту, независимая от всякой официальности и нежданно для нее. Это был трогательный порыв настоящей общественной скорби.

И женский персонал труппы стоял на большой высоте. Хотя уже не было Асенковой, но

достаточно назвать Снеткову, Жулеву, сестер Самойловых, Читау и Линскую и Гусеву для роли старух. Наконец, в самом начале 60-х годов, появился на сцене Горбунов, непревзойденный рассказчик сцен из народного быта, умевший с тонким чувством воздержаться от смехотворных изображений входивших в состав России инородцев: евреев, поляков, армян и финнов, отчего не был свободен даже такой артист, как Самойлов, игравший роль Кречинского с подчеркнутым польским выговором. Не обходилось, конечно, и без некоторых диссонансов в общей стройной гармонии александринской труппы. Среди артистов был некто Т.,—игравший преимущественно роли „злодеев“, никак не могший выучить слово *парламент*, и в одной пьесе, изображающей ожесточенную борьбу парламентских партий, заявивший, несмотря на все усилия суфлера, вместо авторского „пойду в парламент“—„пойду в *департамент*“, а в знаменитой сцене Миллера с женой в „Коварстве и любви“, не найдя пред собой забытой бутафором скрипки, воскликнувший: „Молчи жена, или я тебе размозжу голову тою скрипкой, которая у меня в той комнате!“ и т. п.

В начале 60-х годов веселый и жизнерадостный водевиль сменила оперетка с ее двусмысленностями и опошлением серьезных исто-

рических сюжетов. От оперетки невольный переход к опере и, следовательно, к Большому театру на Театральной площади. И та же цензура простерла свою длань над названиями европейских опер. Из комических, якобы политических, соображений, они были переименованы— „Вильгельм Телль“—в „Карла Смелого“, „Моисей“—в „Зора“, „Пророк“—в „Осаду Гента“, „Немая из Портичи“—в „Фенеллу“, „Гугеноты“, вопреки всякому историческому смыслу, в „Гвельфов и гибелинов“. В итальянской опере блистали Тамберлик и Марио, Кальцолари и Ронкони и в конце сороковых годов певица Альбони, по поводу крайней толщины которой и удивительного голоса остряки говорили, что это слон, проглотивший соловья, а затем Полина Виардо—Гарсия, сыгравшая такую роль в жизни Тургенева, и Бозио, трогательно воспетая Некрасовым: Нашему Мартынову в его комическом амплу, соответствовал известный бас Лаблаш—большого роста и толщины, иногда в шуточку вставлявший в итальянские речитативы исковерканные русские фразы, и большой поклонник Мартынова, говоривший: „языка его я не понимаю, но его—понимаю“. Эта опера посещалась преимущественно великосветским обществом или завзятыми меценатами. Они брезгали русской оперой, которой не особенно занималась и дирекция театров, но которую

посещал с любовью средний обыватель, ценивший такие слабые произведения, как „Аскольдова могила“, и непонимавший, в течении долгого времени, дивных красот „Руслана и Людмилы“. Самая „Жизнь за Царя“ давалась в довольно жалкой обстановке, и ее вывозил лишь талант Петрова. Она все-таки держалась на сцене и в известные дни давалась по установленному ритуалу. Первое же представление „Руслана“ было встречено холодно, а когда уехал из театра Николай Павлович, то послышалось шикание не только из зрительной залы, но даже из оркестра. Бледный и растерявшийся Глинка не знал, выходить-ли ему на сцену на жидкие вызовы „автора!“, но сидевший с ним в директорской ложе начальник Третьего Отделения Дубельт сказал ему: „Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше тебя страдал“. Роль Вани в „Жизни за Царя“ в 50-х годах с особым успехом исполняла талантливая певица Леонова. Пред оставлением казенной сцены, в 60-х годах, она, чрезвычайно пополневшая, была заменена другой певицей, очень сухощавой. В одной из современных каррикатур они были изображены обе с надписью: „Госпожа NN и ее футляр“. В конце 50-х годов в русской опере был поставлен „Трубадур“ Верди, имевший чрезвычайный успех, благодаря талантливой игре и пению тенора Сетова, который за-

тем производил сильное впечатление в роли Елеазара в „Жидовке“ Галеви.

Нынешний Маринский театр имел внутри широкую, круглую арену и, предназначенный для конских представлений, акробатов и вольтижеров, носил название „Театра-цирка“. Рядом с ареной была обширная сцена, и все было обставлено весьма роскошно. Лучшие европейские цирковые труппы сменяли одна другую, нередко оставляя в рядах аристократии своих выдающихся наездниц. В „Театре-цирке“ давались патриотические пьесы, где к игре актеров присоединялись конские ристания, джигитовки, ружейная и даже нечто в роде пушечной пальбы. Особенно эффектно была поставлена „Блокада Ахты“, по поводу которой рассказывали, что на вопрос проезжавшего мимо Государя, что идет в этот день, часовой театра-цирка будто-бы ответил: „Блокада Ахвы“, об'яснив затем такое искажение названия невозможностью сказать царю Ах-ты!.. На этой арене особенно отличался клоун Виоль, чрезвычайно гибкий и ловкий артист, исполнявший, между прочим, роль орангутанга в пьесе: „Жако или бразильская обезьяна“. Театр-цирк просуществовал, однако, не долго. Он давал большой дефицит, да и публика к нему охладела. В противоположность русской опере, в Большом театре ставились с большой роскошью балеты, в которых особенно отли-

чалась Андреянова, вместе с подвизавшимися на ряду с ней разными иностранными знаменитостями, во главе с Фанни Эльслер и Карлоттой Гризи. Особенно любимыми балетами были „Война женщин“ со множеством военно-хореографических эволюций и „Сатанилла“ с изображением ада и огромного извивающегося через всю сцену змея в последнем акте.

Короткая Михайловская улица приводит к Михайловскому дворцу (впоследствии музей Александра III) и Михайловскому театру, где дают представления французская и немецкая труппы. Первая из них включает в себе первоклассных артистов, как Бертон, Лемениль и мадам Вольнис, тонкая игра которых доставляет истинное наслаждение. Особенно выдает Лемениль, во многом напоминающий Мартынова, конечно, с французским складом. В забавной пьесе „Les rommes du voisin“, изображен ряд комических положений, попадая в которые заезжий в новый для него город товарищ прокурора (*subsitu*) воображает себя совершающим различные преступления. Романтические приключения его оканчиваются благополучно, но этому концу предшествует совершение им воображаемого убийства с самыми мрачными подробностями. В первых двух действиях Лемениль заставлял публику неудержимо смеяться, но в последнем действии, считая себя беспово-

роотно вступившим на путь ужасных преступлений, он переставал смешить и возбуждал видом своих душевных переживаний в зрителях и ужас, и сострадание.

В Михайловском дворце проживает великая княгиня Елена Павловна, к которой применимы слова, обращенные Апухтиным к Екатерине II („Недостроенный памятник“) „я больше русскою была, чем многие по крови вам родные“. Представительница деятельной любви к людям и жадного стремления к просвещению в мрачное Николаевское царствование, она, вопреки вкусам и поведке своего мужа, Михаила Павловича, всей душой отдавшегося культу выправки и военного строя,—являлась центром, привлекавшим к себе выдающихся людей в науке, искусстве и литературе, „подвизывала крылья“ начинающим талантам и умела умом и участием согреть их. Она проливает в это время вокруг себя самобытный свет среди окружающих безмолвия и тьмы. В то время, когда ее муж—в сущности добрый человек—ставит на вид командиру одного из гвардейских полков, что солдаты вверенного ему полка шли не в ногу, изображая в опере „Норма“ римских воинов, в ее кабинете сходятся знаменитый ученый Бэр, астроном Струве, выдающийся государственный деятель граф Киселев, глубокий мыслитель и филантроп князь Владимир Одоевский, Н. И.

Пирогов, Антон Рубинштейн и др. С последним она выработывает планы учреждения Русского Музыкального Общества и Петербургской Консерватории и энергично помогает их осуществлению в жизни личными хлопотами и денежными средствами. Благодаря этому, в России начал развиваться вкус к серьезной музыке, который до того удовлетворялся модными романсами: „Скажите ей“ и „Когда-б он знал“ на одну и ту-же музыкальную тему, и очень популярными „Голосистым соловьем“ Алябьева, „Гондельером“ и другими подобными. А когда, в начале 50-х годов, впервые появились в продаже папиросы, то часто исполнялся романс: „Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить: не по прихоти-ж случайной стали все тебя курить“. Она-же сердечным участием после истории с князем Чернышевым удерживает Пирогова от от'езда из России и привлекает к задуманному ею устройству первой в Европе Крестовоздвиженской Общины военных сестер милосердия, отправляемой потом под руководством знаменитого хирурга в Севастополь, где их самоотверженная деятельность встречается грязными намеками главнокомандующего князя Меншикова. В ее гостиной собираются и будущие деятели освобождения крестьян во главе с Николаем Милютиным. „Нимфа Эгерия“ нового царствования, она всеми силами содействует

отмене крепостного права не только своим влиянием на Александра II, но и личным почином по отношению к своему обширному имению Карловка.

Невдалеке от дворца, перейдя Мойку, в переулке, ведущем мимо круглого рынка в Большую Миллионную, мы встречаем громадную гранитную глыбу, изображающую в неотделанном виде сидящего колосса, когда-то предполагавшегося к постановке где-то в Петербурге, но подломившего под собою перевозочные приспособления, осевшего почти посредине узкой улицы и так и оставшегося. Лишь в конце 70-х годов эта безобразная каменная масса была куда-то увезена и, быть может, раздроблена на части.

Идя по Большой Миллионной, мы доходим до Дворцовой площади, влево от которой Певческий мост и близ него на Мойке дом, в котором мучительно окончил свои последние страдальческие годы Пушкин. Обычное у нас равнодушие к тому, что было светлого в нашем прошлом, сказалось по отношению к последнему обиталищу великого поэта, обратно тому, как это сделано в Германии и Англии относительно Гете и Шекспира. Хотя Тютчев в трогательных стихах, обращаясь к только что убитому Пушкину, говорит: „Тебя, как первую любовь; России сердце не забудет“, обиталище

это не сохранено и не охранено в благоговейном внимании в прежнем виде и в нем в последнее время помещалось какое-то учреждение полицейского характера.

Еще Некрасов к характеризующим Петербург местам прибавлял „необозримые кладбища“, и если мы захотим их посетить, то прежде всего наше внимание остановит кладбище Александро-Невской лавры, тянущееся по обеим сторонам дороги, ведущей от ворот к внешней ограде монастыря. На правой руке мы найдем могильные памятники, красноречиво говорящие о тех, кто под ними погребен. Достаточно указать на имена Ломоносова, Сперанского, Крылова, Карамзина, Державина, Баратынского и Жуковского, Гнедича и Глинки. Слева надгробные плиты и памятники более отдаленного времени. Вот между ними могила своеобразно знаменитой приближенной фрейлины Екатерины II, Перекусихиной и вот плачущая мраморная женщина у разбитого молнией дуба, под которым лежит младенец. Эти последние фигуры связаны с трагической судьбой красавца гвардейца Охотникова и печальным существованием жены Александра I, Елизаветы Алексеевны. Вот могила мрачного и зверского Шешковского, начальника Тайной канцелярии при Екатерине II и, наконец, могила президента Академии и строгого ревнителя русского языка—адмирала Шишкова. Под полом

церквей, могилы выдающихся военных и гражданских деятелей.

Впоследствии, в конце 60-х годов, когда почти окончательно заполняются эти кладбища памятниками с громкими именами лежащих под ними, постепенно разрастается почти до самой Невы обширное Никольское кладбище. Там есть имена выдающихся деятелей литературы и эпохи великих реформ, но во время нашего обхода Петербурга это кладбище существует еще в самом зачатке. За Обводным каналом—Волково кладбище, богатое впоследствии громкими литературными именами. Достаточно сказать, что на нем лежат Добролюбов и Белинский. Там же могилы Полевого и знаменитого Радищева. Здесь впоследствии нашли последнее упокоение Тургенев, Кавелин, Салтыков, Костомаров и др. Смоленское кладбище на Васильевском острове приняло в свои недра многих артистов. Мы находим на нем могилы артиста Дюра, мужа и жены Каратыгиных, Мартынова, О. А. Петрова (первого Сусанина в „Жизни за царя“) и, наконец, Варвары Николаевны Асенковой, любимой артистки 40-х годов, к которой, через 12 лет после ее кончины, Некрасов обращался со следующими словами: „Но ты, кому души моей летят воспоминания, я бескорыстней и светлей не видывал создания. Увы, наивна ты была, вступая за кулисы, и благородно поняла

призвание актрисы. Душа твоя была нежна, прекрасна, как и тело. Клевет не вынесла она, врагов не одолела“.

На католическом кладбище Выборгской стороны лежит скончавшаяся в начале 60-х годов Бозио — итальянская певица и артистка с удивительным голосом. К ней обращены горестные слова Некрасова: „Дочь Италии, с русским морозом трудно ладить полуденным розам, перед силой его роковой ты поникла челом идеальным, и лежишь ты в отчизне чужой на кладбище пустом и печальном. Позабыл тебя чуждый народ в тот же день, как земле тебя сдали, и давно там другая поет, где цветами тебя осыпали“.

Внутренняя жизнь Петербурга в то время представляет много особенностей, очень отличающих его от недавнего Петербурга девяти-сотых годов перед роковой войной. В начале 50-х годов в городе 450 тысяч жителей. К началу 60-х—600 тысяч. Жизнь общества и разных учреждений начинается и кончается ранее, чем теперь. Обеденный час, даже для званых трапез, четыре часа, в исключительных случаях—пять, причем по отношению к кушаньям и закускам, за исключением особо торжественных случаев, обилие не сопровождается роскошью, как с начала 90-х годов. Тоже самое и относительно напитков. Далеко не всякий зва-

ный обед требует шампанского. В обыкновенные дни на столе у большинства даже зажиточных людей стоят квас и кислые щи.

В 50-х годах была чрезвычайно распространена на вечерах игра в лото, а так же доверчивое занятие с говорящими столиками. Под влиянием пришедших с запада учений о спиритизме, многие страстно увлекались этим занятием, ставя на лист бумаги миниатюрный, нарочито изготовленный столик, с отверстием для карандаша, и клали на него руки тех, через кого невидимые духи любили письменно вещать „о тайнах вечности и гроба“. Иногда такими посредниками при этом выбирались дети, причувшиеся, таким образом, ко лжи и обману, в чем многие из них впоследствии трагически раскаивались. В гости на званный вечер приезжают в 8—9 часов, а не на другой день, как это часто случалось впоследствии. Уличная жизнь тоже затихает рано, и ночью на улицах слышится звук сторожевых трещеток дворников.

В начале описываемого периода, дамы носят по несколько шумящих крахмальных юбок. Под платьями, снабженными рядами воланов, высокий корсет, стянутый до крайности, чтобы талия была „в рюмочку“. Он в большом употреблении и даже злоупотреблении, с несомненным вредом для здоровья. На него надевается лиф, заканчивающийся книзу острым шнипом. Чулки

у дам нитяные или шелковые, белые, — цветные или полосатые предоставляются лицам, не принадлежащим к так называемому обществу. Подвязки, часто на пружинах, носятся ниже колен. Обувь — башмаки без каблуков с завязками или из козловой кожи или материи и прюнелевые ботинки. Кожанные сапожки и туфли на безобразно высоких каблуках явились гораздо позже. Шляпки представляют нечто вроде корзиночки, завязанной у самого горла бантом из широких цветных лент. К 60-м годам женские моды круто меняются. От многочисленных юбок остаются только одна-две, а их заменяет кринолин, доходящий иногда до совершенно нелепого и неудобного под'ема. Шляпы приобретают разнообразный фасон и среди них одно время выделяются *chapeaux mousquetaires* со средней величины полями, обшитыми вокруг широкой полосой черных кружев.

Мужские моды более устойчивы. С новым царствованием, в половине 50-х годов, исчезают у мужчин остроконечные воротнички рубашек и тугие высокие атласные галстуки на пружинах, заменяясь отложными или просто стоячими воротниками и тонкими узкими галстучками. Почти исчезают и узкие брюки со штрипками, заменяясь одно время очень широкими, светло-серыми. В костюмах „штатских“ людей преобладает черный цвет. Длинное пальто — „паль-

мерстон“ чередуется с накидкой „крылаткой“. Николаевская шинель с пелериной постепенно отходит в область прошлого. Нет обилия всевозможных мундиров, как было в последнее время, и люди менее обвешиваются всевозможными орденами русскими, иностранными и экзотическими, медалями и значками своей принадлежности к разным благотворительным и спортивным обществам. Праздничный вид петербуржца более скромный чем впоследствии, когда часто оправдывался рассказ о маленьком ребенке, который, на вопрос матери, указывающей на приехавшего с праздничным визитом господина—ты знаешь, кто этот дядя? отвечал: „знаю,—это елка“. По воскресеньям на Невском и на Набережной Невы против дворца происходят обыкновенно гулянья. В начале 50-х годов, если появляется на улице барышня „из общества“, ее непременно сопровождает слуга в ливрее или компаньонка. В начале 60-х годов эти провожатые исчезают и появляется фигура „нигилистки“ со стриженными волосами и нередко в совершенно ненужных очках. Она заменяется затем скромным видом девушки трудового типа, не находящею нужным безобразить свою наружность для вывески своих убеждений.

Уличные вывески очень пестры, разнообразны и занимают, без соблюдения симметрии,

большие пространства на домах. У парикмахерских или „цирулень“ почти неизбежны изображения банки с пиявками и нарядной дамы, опирающейся рукой на отлете на длинную трость, причем молодой человек, франтовато одетый, пускает ей из локтевой ямки идущую фонтаном кровь. У табачных магазинов непременно два больших изображения: на одном—богато одетый турок курит кальян, на другом—негр или индеец, в поясе из цветных перьев и таком-же обруче на голове, курит сигару. Не редки вывески „привилегированной“ повивальной бабки. Попадают на старом Невском лаконические вывески „духовного портного“. В Большой Мещанской улице есть гробовщик, предлагающий „гробы с принадлежностями“ и переводящий это тут-же на немецкий язык „Grab mit prinadleg-posten“. У некоторых публичных зданий и ворот попадают загадочные надписи „здесь вообще воспрещается“, раз’ясняемые надписью у ворот летнего немецкого клуба на Фонтанке: „кто осквернит сие место, платит штраф“. Очень много вывесок зубных врачей с плодовитыми фамилиями Вагенгеймов и Валленштейнов. Фотографий мало, и между ними выдаются Левицкого и Даутендея.

Уличные развлечения представлены, главным образом, итальянцами шарманщиками или савоярами с обезьяной и маленьким органчиком. До

конца 50-х годов эти шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные фигурки и часто изображается умирающий в постели Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который, под прибаутки водырей и звуки кларнета, пьет водку и показывает „как бабы горох собирают“. Часто во дворы заходят бродячие певцы, является „петрушка“ с ширмами, всегда собирающий радостно хохочущих зрителей или приходят мальчики, показывающие сидящего в коробке ежа или морскую свинку и громко возглашающие: „Посмотрите, господа, да посмотрите, господа, н-а-а зверя морского“. Местом летних вечерних развлечений для более зажиточной публики служат искусственные минеральные воды в Новой Деревне, где изобретательный И. И. Излер открыл при заведении минеральных вод увеселительный сад с концертным залом, в котором поют тирольский и цыганский хоры. Ярко иллюминированный сад и концерты очень посещаются публикой, которую доставляют от Летнего сада пароходы предпринимателя Тайвани до смены их гораздо позже финляндским пароходством...

При воспоминаниях Петербургского старожилы о времени 50-х и первой половины 60-х годов невольно возникают живые образы людей,

пользовавшихся, если можно так выразиться, городской популярностью, не по занимаемым ими в обществе, на службе или в науке выдающемуся положению, но потому, что их оригинальная наружность и своеобразная „вездесущность“ с массой анекдотических о них рассказов, делала их имя чрезвычайно известным.

Описание их выходит за пределы нашей статьи, но для примера можно остановиться на одном из них. Это был брат каррикатуриста, служивший в театральной дирекции, Александр Львович Невахович, хотя и толстый, но очень подвижный, с добродушным лицом и живыми глазами, всегда и неизменно одетый во фрак. Он славился, как чрезвычайный гастроном и знаток кулинарного искусства. Изображение его в карриатурах брата в сборнике „Ералаш“, наряду с рассказами о его оригинальностях, создали ему большую популярность в самых разнообразных кругах Петербурга. Брат нарисовал его, между прочим, очень похожим, говорящим с маленьким сыном по поводу лоттереи—аллегри, которая была одно время очень в моде. „Папа,—говорит мальчик,—на моем выигрышном билете значится обед на двенадцать персон. Где же он?“—„Я его с'ел“,—отвечает добродушно Александр Львович. Он пользовался особым расположением министра двора графа Адлерберга и, когда тот со смертью Николая

69 оставил свой пост, то Невахович уехал за границу. В 69-ом году один русский писатель, в вагоне железной дороги из Парижа в Версаль, встретил его в неизбежном фраке и с отпущенной седою бородой и, услышав его жалобу на скуку заграничной жизни и тоску по России, спросил его, отчего-же он не вернется в Петербург.—„Невозможно, отвечал Невахович,—я за 13 лет отсутствия растерял почти все знакомства и меня в Петербурге уже не знают, а я был так популярен! Кто меня не знал?! Возвращаться в этот город, ставший для меня пустыней, мне просто невозможно. Знаете-ли, как я был популярен? Раз встречаю на улице едущего театрального врача Гейденрейха и кричу ему: „стой, немец, привезли устрицы, пойдём в Милютины лавки—угощу!—Не могу, отвечает, еду к больному,—а когда я стал настаивать, то говорит: „иди туда, а я приеду.—Врешь, говорю, немец, не приедешь.—Ну так пойдём к больному, а оттуда поедём, я скажу, что ты тоже доктор“.

Поехали мы. Слуга отворяет дверь, говорит: „кажется кончаются“, а в зале жена больного плачет, восклицая: „доктор, он ведь умирает“!

Вошли мы в спальню. Больной, совсем мне незнакомый, мечется на кровати, стонет. Гейденрейх стал считать его пульс и безнадежно покачал головой, взглянув на стоявшую в головах больного плачущую жену, стал все таки утешать

больного, который все твердил, что умирает. „Это пройдет, говорит Гейденрейх, это припадок“. — „Что вы меня обманываете, проговорил больной, какой припадок, я умираю“ — „Да нет, говорит Гейденрейх, вот и другой доктор вам тоже скажет“ — и указывает на меня, стоящего в дверях. „Какой это доктор? — спрашивает больной, остановился на мне глазами, да вдруг как крикнет: „Разве это доктор!! Это Александр Львович Невахович!“ и с этими словами повернулся на кровати и испустил дух. — Так вот как я был популярен в Петербурге, так где уж тут возвращаться“...

